

- [Теодор Драйзер](#)
 -

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Теодор Драйзер

Калхейн, человек основательный

Обратиться к нему меня заставила нервная депрессия. На моем физическом состоянии она отразилась мало; я, можно сказать, был болен духовно. Честно говоря, я относился и к Калхейну и к его методам с предубеждением. Я и раньше немало слышал о нем. Начать с того, что он был известным борцом, или, вернее, бывшим борцом, который ушел с ковра в расцвете славы — непобежденным чемпионом мира. Еще мальчиком я знал, что он вместе с Маджеской объехал Америку, играя Чарльза в «Как вам это понравится». До или после этого он тренировал Джона Л. Салливэна — тогдашнего чемпиона мира по боксу, и подготовил его к одному из самых блестящих выступлений, — и это в такое время, когда Салливэн, казалось, не имел никаких шансов на успех. За свою жизнь Калхейн переменил много профессий: работал на отцовской ферме в Ирландии, отрабатывал проезд в Америку камбузным юнгой, был рабочим на фабрике мясных консервов, поваренком, потом официантом в третьеразрядном ресторанчике Нью-Йорка, вышибалой в кабаке, массажистом на состязаниях по боксу, полисменом, рядовым в Гражданскую войну, билетером, ярмарочным борцом, барабанщиком в бродячем цирке, и, наконец, достигнув наивысшей славы как чемпион мира по борьбе и тренер Джона Л. Салливэна, он открыл в одном из отдаленных округов штата Нью-Йорк спортивный санаторий, на смену которому позднее пришел в высшей степени фешенебельный пансион в Уэстчестере, возле Нью-Йорка.

Меня всегда удивляло, что люди такого типа внушают чуть ли не благоговейный трепет именно тем, кто занимается умственным трудом; более понятным казалось мне преклонение перед ними тех, кто превыше всего ценит силу, проворство, так называемую физическую храбрость, даже если этим качествам сопутствует грубость. В низших слоях общества — особенно мужчины и подростки — относятся к таким силачам с почтительным уважением, что, наверное, им очень льстит.

Однако в случае с Калхейном дело обстояло несколько иначе. Каким бы неотесанным он ни был в молодости, жизнь его со временем пообтесала. Он приобрел довольно разносторонние знания, привык к учтивому обращению, пригляделся к нравам и обычаям состоятельных

людей и научился если не подражать, то хотя бы принаравливаясь в известной мере к их манерам. Ему принадлежали сотни акров превосходной земли в одном из наиболее фешенебельных уголков Восточных штатов. Он уже подарил общине сестер милосердия солидное поместье в северной части штата Нью-Йорк. Его конюшня располагала всеми видами самых модных экипажей и шестьюдесятью лошадьми; лошади были отвратительные, нарочно подобранные для «гостей». Сюда приезжали люди всех профессий, вносили с превеликой радостью вперед шестьсот долларов — плату за шестинедельный курс лечения; слуг и собственные автомобили пристраивали где-нибудь поблизости, так как пользоваться ими не разрешалось. Меня рекомендовал, или, скорее, навязал Калхейну, мой заботливый брат, который был его другом, — я сказал бы, закадычным другом, если бы таковой вообще мог появиться у Калхейна.

Меня привезли в весьма подавленном и мрачном настроении и оставили одного: Калхейн редко встречал своих гостей лично, а если и встречал, то всегда заставлял ждать. По дороге в санаторий брат счел нужным предупредить меня относительно своеобразных методов и приемов лечения, которые, по слухам, оказывали благотворное воздействие на большинство пациентов. Методы эти были чрезвычайно свирепы, нарочито свирепы.

По приезде, еще до встречи с хозяином, я поразился благородной простоте здания, в котором помещалась гостиница, или санаторий, или «ремонтная мастерская» (как я узнал позднее, он именно так называл свое заведение); дом стоял на холме, и с крыльца открывался поистине чудесный вид. День выдался ясный и по-весеннему теплый. Живая изгородь из высокого, ровно подстриженного кустарника окружала широкую лужайку, радовавшую глаз ярко-зеленой травой. Дом был серый, большой, вытянутый в длину, со строгими окнами, доходившими до самого пола, и просторными балконами, опоясывавшими весь второй этаж; на балконах стояли кресла-качалки, защищенные от солнца навесом. Возвышенность, на которой находился санаторий, полого спускалась к морю; до побережья было несколько миль. Какое очарование придавали пейзажу шпили деревенских церквей, островерхие крыши и множество парусников, казавшихся отсюда игрушечными! К западу на многие мили вздымались и опадали, как волны, зеленые холмы, а в ясную погоду среди деревьев виднелись шпили и крыши ближайших деревень. На юге слабо поблескивала водная гладь и смутно вырисовывались прихотливые очертания, казавшиеся днем всего-навсего неясным контуром отдаленного пейзажа. Но зато ночью мягкое сияние, излучаемое мириадами огней,

указывало местонахождение огромного города — нарядного и разгульного Нью-Йорка. На севере поросшие травой холмы тянулись бесконечной чередой, пока не исчезали в зеленовато-голубой дымке.

Как я вскоре убедился, санаторий был очень разумно и правильно оборудован, и все внутреннее устройство отвечало той цели, для которой он предназначался: повсюду много воздуха, света; на первом этаже — большой гимнастический зал, где в углублении стены висело несколько боксерских «груш» и мячи для лечебной физкультуры. В другой части здания находилась контора или приемная, кладовая для хранения багажа, гардеробная и столовая. В восточном крыле были устроены душевые, комната отдыха и солярий. На втором этаже по обе стороны широченного коридора, в одном конце которого находились большая библиотека, бильярдная и курительная, а в другом — личные апартаменты Калхейна, шел ряд спален, всего около ста; из каждой спальни была дверь на балкон. Это устройство очень напоминало пассажирский пароход с каютами, выходящими на палубу, и проходом между ними. В другом крыле первого этажа помещались кухни, комнаты для прислуги и еще много, много всего. На краю огромной лужайки под прямым углом к санаторию стояла большая конюшня, почти столь же внушительная. В усадьбе былолюдно: повсюду мелькали слуги, конюхи, официанты, не говоря уже о множестве пациентов — людей почти всех званий, возрастов и даже, можно сказать, почти всех национальностей, представленных в Америке первым и вторым поколением иммигрантов.

Своего будущего хозяина — или доктора, или тренера — я увидел только часа через два после приезда; мне пришлось сидеть и дожидаться, пока он не соизволит снизойти до знакомства со мной. Наконец он появился, и должен сказать, что я еще не видывал зверя более свирепого и вместе с тем более цивилизованного. Выглядел он весьма живописно и был поистине великолепен: хорошо сложенный, с величественной фигурой и осанкой, словно оживший портрет кардинала Ришелье или герцога Гиза: светло-коричневые рейтузы, ярко-красный жилет, пиджак в черно-белую клетку, желтые сапоги с отворотами и шпорами, а в руке арапник. И все же даже в этом прекрасно сшитом костюме для верховой езды он сильно смахивал на тигра или на очень злого кота, умеющего, однако, очень ласково мурлыкать, этакое кота из детских сказок — в бархатном камзоле и сапогах. И походка у него была кошачья, легкая и бесшумная. Холодные, серые глаза его время от времени вспыхивали тем злым, беспокойным и недоверчивым огоньком, который иногда пугает нас в глазах дикого зверя. Трудно было поверить, что этому человеку уже за шестьдесят. Ему от силы

можно было дать пятьдесят лет, а то и меньше. Коротко подстриженные седые усы и борода делали его еще более величественным. Гладко зачесанные волосы и косматые брови, кончики которых загибались кверху, усугубляли это впечатление. Словом, вид у него был очень мужественный, очень неглупый, очень хладнокровный, очень сердитый и даже грозный.

— Ну, — сказал он, — вы хотели меня видеть?

Я назвал себя.

— Да, да. Ваш брат уже рассказывал мне про вас. Хорошо, садитесь. Вами займутся.

Он снова исчез; а я еще около часа сидел и ждал, сам не зная толком чего, — комнату ли, обеда или ласкового слова. Но никто не появлялся.

За время ожидания в унылом вестибюле, увешанном шляпами, картузами, хлыстами и перчатками, я успел присмотреться к кое-кому из тех людей, с которыми мне предстояло провести несколько недель. Было около двух часов; одни парами или по трое разгуливали по комнате и беседовали, другие читали, все были в обычных спортивных костюмах — мягких шерстяных рубашках, брюках-гольф, чулках и спортивных туфлях. В большинстве своем это, по-видимому, были так называемые люди умственного труда — врачи, адвокаты, священники, актеры, писатели; немало здесь было коммерсантов, промышленников, политических деятелей и просто светских бездельников — молодых и среднего возраста, утомленных непрерывной погоней за удовольствиями. Я сразу же узнал известного нью-йоркского судью и актера, прославленного во всех странах, где говорят по-английски. И другие, как мне сообщили потом, тоже занимали видное положение в обществе, кто в силу своего происхождения, а кто благодаря собственным стараниям. Все эти умные и образованные люди, как я понял впоследствии, приезжали сюда потому, что они сами или их родственники всерьез верили или по крайней мере находили удовлетворение в диковинном методе лечения, благодаря которому Калхейн прославился.

Как я уже говорил, я был настроен скептически. Всякие медицинские теории со всевозможными «измами» никогда не внушали мне доверия. Однако, пока я дожидался, произошел случай, который произвел на меня известное впечатление. К подъезду подкатил легковой автомобиль, в котором сидел какой-то тощий субъект с надменным выражением лица. Он явно ждал, что его выйдут встречать. Никого не дождавшись, он осторожно выбрался из машины и, удостоверившись, что его многочисленные чемоданы и саквояжи сгружены на усыпанную гравием площадку перед санаторием, отпустил шофера и вошел в дом.

— Где же мистер Калхейн? — спросил он.

Так как, кроме меня, в вестибюле никого не было, я ответил:

— Не знаю, он был здесь, но ушел. Наверное, сейчас кто-нибудь придет.

Новоприбывший стал расхаживать взад и вперед.

— Необычный способ принимать гостей. Я телеграфировал о своем прибытии.

Он продолжал беспокойно и сердито шагать по комнате, время от времени поглядывая в окно, потом сказал, что все это очень странно. Я с ним согласился.

Прошло минут пятнадцать, а к нам все еще никто не выходил. Те из служителей или пациентов, которые случайно проходили через вестибюль, не достаивали нас даже взглядом.

— Это ни на что не похоже, — злился новоприбывший, продолжая ходить по комнате. — Три часа тому назад я отправил телеграмму. Здесь я сижу уже сорок пять минут. Так дела не делают, если хотите знать.

Наконец наш грозный хозяин явился. Он, видимо, направлялся по своим делам и совсем не собирался разговаривать с нами. Однако, заметив нас, или, вернее, нового пациента, он с тем же холодным и равнодушным видом посмотрел на него, но не выказал никакого намерения извиниться за свое опоздание.

— Вы хотели меня видеть? — отрывисто буркнул он.

Новоприбывший прямо весь трясся от злости, как оса. Он чувствовал себя оскорбленным тем, что к его особе не отнеслись с должным уважением.

— Вы мистер Калхейн? — спросил он резко.

— Я.

— Мое имя — Сквайрс, — объявил он. — Я дал вам телеграмму из Буффало и заказал комнату, — продолжал он, сердито размахивая рукой.

— Ошибаетесь, вы ничего не заказывали, — мрачно ответил хозяин, не скрывая своего желания выказать полное безразличие и даже презрение к мистеру Сквайрсу. — Вы просто запрашивали, можно ли получить здесь комнату.

Больше он ничего не прибавил, но в вестибюле вдруг повеяло холодом. Мистер Сквайрс понял, что его неправильно информировали о порядках в этом санатории и что он допустил какую-то ошибку.

— А-а, конечно... Ну так как же, есть у вас комната?

— Не знаю. Вряд ли. Мы принимаем далеко не всех.

Взгляд его при этом, казалось, насквозь просверлил будущего

пациента.

— Да, но мне говорили... мой друг, мистер Х... — не то сердясь, не то извиняясь, мистер Сквайрс пустился сбивчиво объяснять, как он сюда попал.

— Я знать не знаю ни вашего друга, ни того, что он вам говорил. Если он сказал вам, что у нас можно заказать комнату по телеграфу, он ошибся. К тому же вы сейчас разговариваете не с вашим другом, а со мной. Но раз вы уже здесь, я готов посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать, если, конечно, вы согласны присесть и отдохнуть. Сейчас я ничего не могу решить. Придется подождать. — Он повернулся и вышел. Мистер Сквайрс застыл в изумлении.

— Ну и ну! — сказал он мне немного погодя и нервно зашагал из угла в угол. — Если хочешь попасть сюда, нужно мириться с этим, но встречаются здесь по меньшей мере странно. — Он понуро уселся и стал ждать.

Потом, когда конторщик заносил наши имена в регистрационную книгу, мистер Сквайрс пожаловался, что у него не в порядке легкие. Приехал он издалека, кажется, из Денвера. Ему сказали, что достаточно послать телеграмму, особенно для такого человека, как он.

— Да, так многие думают, — флегматично заметил конторщик, — но они не знают мистера Калхейна. Он поступает так, как ему нравится. Мне кажется, он держит санаторий для собственного удовольствия, а не ради денег. Желающих попасть к нам всегда больше, чем мы принимаем.

Я начал кое-что понимать. Кто знает, может быть, санаторий и в самом деле заслужил свою славу. И, однако, я не представлял себе по-настоящему, куда я попал, до тех пор, пока после скудного ужина не направился в отведенную мне скромно обставленную комнату, сильно смахивающую на тюремную камеру. Ровно в девять часов погас свет. Я зажег тоненькую свечку и хотел было разобрать саквояж, как вдруг из коридора послышался голос: «Гасите свечи! Скорее! Все в постель!» Тут я понял всю строгость режима в этом санатории.

В половине шестого утра, когда я еще крепко спал, раздался громкий стук в дверь. Еще вечером я заметил над моей постелью объявление: «Все гости должны ровно к шести часам являться в гимнастический зал, одетыми в трусы, туфли, свитер».

«В гимнастический зал! В гимнастический зал!» — раздавалось по всему дому. Я вскочил с постели. Я уже понял по царившей здесь атмосфере, что лучше и не пытаться нарушать заведенный порядок. Тигриные глаза хозяина смотрели на меня отнюдь не ласковее, чем на всех остальных. Свои шестьсот долларов я выложил. Надо оправдать их. Не

прошло и пяти минут, как я уже входил в гимнастический зал, успев надеть трусы, свитер, халат и спортивные туфли.

Ну и зрелище! Такой странной публики, какая собралась здесь, я никогда еще не видел ни в одном спортивном зале. Тощие, костлявые фигуры, великолепные бакенбарды, усы, козлиные бородки, толстые животы, острые коленки, тонкие руки, лысеющие и совсем лысые головы; очки в оправе, без оправы, пенсне, которые пришлось снять, когда начались упражнения. Даже цветущие юноши в спортивных штанишках, свитерах и тапочках не слишком радуют взор. Что же сказать о людях немолодых? А ведь они, не без горечи подумал я, обычно носят самое лучшее платье, имеют собственные автомашины, слуг, дома и загородные виллы, владеют предприятиями и фабриками, распоряжаются сотнями людей. И смех и грех! И все, не исключая меня самого, дряблые и беспомощные, словно устрицы, вытащенные из своих раковин. Поистине жалкое зрелище!

Пока я предавался этим размышлениям, некоторые из присутствующих, видя, что я новичок, посоветовали мне поскорей подыскать себе партнера для игры в мяч, а не то меня может взять в пару «сам». Я поспешил последовать их совету. Не успели мы приступить к упражнениям — каждая пара тренировалась двумя-тремя мячами, — как вошел наш хозяин — железный человек, гора мускулов. Халат с капюшоном делал его похожим на странствующего аббата или средневекового капуцина, но никак не на тренера. Пройдя на середину зала, он скинул халат и остался в таком же костюме, как и все мы, ловкий и гибкий, словно хищный зверь. И насколько же он был привлекательнее нас: богатырская грудь, сухощавые, крепкие ноги, мускулистые, стройные руки. Быстрым движением он подхватил с пола большой, обтянутый кожей мяч, такой же, какие были у всех нас, и выкрикнул имя одного из гостей — тощего человечка с бакенбардами и лысиной, тоненькими ножками и ручками, выглядевшего весьма комично в трусах и свитере. Тот встал напротив хозяина, и на него тут же обрушился град грубых окриков.



— Шевелитесь! Живее! Еще! Кидайте мне мяч! Ну кидайте же! Целый день вы его держать будете? Господи! Ну чего вы стоите? Чего вы стоите? Вы что — чай пьете, что ли? Давайте, давайте! Я не могу возиться все утро только с вами! Живее! Живее, размазня вы эдакая! А еще называется редактор! Вам не отредактировать и объявления! Вы даже мяч бросить прямо не умеете! Да прямо же! Прямо, говорят вам! Черт возьми, где я, по-вашему, стою, на улице, что ли? Прямо надо кидать! А, черт!

Во время этой тирады хозяин справа и слева подбирал мячи, которыми был усеян пол зала, и кидал их в своего партнера; прежде чем несчастная жертва успевала понять, в чем дело, кожаные надувные мячи ударяли ее в плечо, в грудь, в подбородок (полагалось, чтобы партнеры

перебрасывались не меньше, чем двумя мячами). Наконец мяч угодил редактору в живот, он слабо охнул и, схватившись за ушибленное место, совсем перестал ловить мяч. Увидев это, наш хозяин презрительно улыбнулся и, замахнувшись мячом, который собирался бросить, сказал:

— Что с вами такое? Да пошевеливайтесь же! Ну зачем вы остановились? И для чего вы здесь стоите? Не ранены же вы! Ну как вы собираетесь чего-то добиться в жизни, если не можете управиться с двумя несчастными мячиками (на самом деле мячей было не меньше восьми)? Мне шестьдесят лет, вам сорок, а вы мне в подметки не годитесь. И после этого вы хотите учить своих читателей уму-разуму. Ну, ладно, продолжайте. Мне жаль ваших читателей, больше мне нечего сказать. — С этими словами Калхейн отвернулся и вызвал другого пациента.

Второй жертвой оказался тучный лысый мужчина с отвислым двойным подбородком и солидным брюшком, как я узнал впоследствии — владелец фабрики готового платья, насчитывавшей до шестисот рабочих; он страдал расстройством нервной системы и был, что называется, совершенной развалиной. Услышав свое имя, он вздрогнул, тяжело пыхтя встал в позицию и в панике стал метаться во все стороны, пытаясь поймать мячи, которые хозяин нарочно бросал в самых неожиданных направлениях.

— Живей! Живей! — подгонял его хозяин, еще более сердито, чем первого партнера. — Господи, ну что вы копошитесь, точно краб! Как вы двигаетесь! Будь у вас побольше мозгов и поменьше жиру, вы были бы попроворней! Ну на кого вы похожи! Вот что получается, если целыми днями разъезжать в такси и ужинать в полночь, вместо того чтобы заниматься спортом. Да проснитесь же наконец! Вам давным-давно пора носить бандаж. Чуть поменьше есть и поменьше спать, тогда у вас не было бы таких жирных щек. Да и волосы не вылезли бы. Проснитесь же! Вы что, умирать собрались, что ли? — При этом Калхейн так стремительно швырял мячи, что его партнер, казалось, вот-вот расплачется. Его физические недостатки стали видны особенно ясно. Он был невероятно толст, и казалось, вот-вот упадет. Он еле стоял на ногах, лицо его побагровело, руки дрожали, он не мог поймать ни одного мяча. Наконец хозяин сказал: — Ладно, продолжайте, — и вызвал третью жертву.

На этот раз отозвался известный актер, любимец публики, довольно подвижной и хорошо сложенный, но все же явно смущенный предстоящим ему испытанием. Этот актер прожил здесь уже несколько недель и очень окреп физически, но и он отнюдь не чувствовал себя уверенно. Проворно выбежав на середину зала, он стал ловить и бросать мячи со всей быстротой, на которую только был способен, но тем не менее его, как и

остальных, осыпали такой злой и презрительной бранью, какую только немногим из нас доводится слышать в этом мире, и уж, конечно, не избранныкам, привыкшим блистать на театральных подмостках.

— Какой вы к черту артист, вы — баба! Луковица вы тушеная! Шевелитесь же! Ну живо, живо! Давайте! Вы только поглядите, как он возится! А руки, руки-то зачем подняли? Где, по-вашему, мяч? На потолке, что ли? Это вам не лампа! Живо! Живо! Непонятно, как это вы встаете на ноги после того, как вас убивают в «Гамлете». Вы уже умерли. Вы уже давно умерли, если хотите знать. Да шевелитесь же!

Так продолжалось до тех пор, пока несчастный трагик, слабый и беспомощный по сравнению с хозяином, под градом мячей, которые били его по груди, голове, животу, наконец не сдался и не закричал:

— Быстрее я не могу! Нельзя требовать того, чего я не могу!

— Ступайте на место, — сказал хозяин и отвернулся от него. — Позовите какого-нибудь пригостишку, пусть он поиграет с вами в шарики, — после чего занялся следующим.

Я, как легко можно себе представить, был полон самых тревожных предчувствий. Ведь в любую минуту он мог вызвать меня! Я играл с маленьким, болезненным человечком, который выбрал меня, вероятно, потому, что угадал во мне неуклюжего и безобидного новичка; он, видимо, понимал, что я опасюсь того же, что и он сам. Перебрасываясь со мной мячами, он всячески старался сделать вид, что тренировка идет у нас отлично.

— Давайте кидать побыстрей, может, нас тогда и не вызовут, — с трогательным доверием сказал он мне. В пору было подумать, что мы знакомы всю жизнь.

Но нас и на самом деле не вызвали, по крайней мере в то утро. Благодаря ли нашим стараниям, или потому, что я был для Калхейна слишком незаметной, безвестной личностью, но мы избежали опасности. Однако на четвертый или на пятый день он добрался до меня, и трудно вообразить себе что-нибудь более постыдное, чем мое выступление. Мячи били меня, валили с ног и барабанили по мне до тех пор, пока я не распростерся на полу, уверенный, что пришла моя смерть. Но я остался жив, и меня, измученного и спотыкающегося, просто отослали назад к моему партнеру, а хозяин в это время уже терзал очередную жертву. Но как он обзывал меня! Какие замечания отпускал по адресу моей не блестящей красотой фигуры и скудных умственных способностей. Я снова, как бывало, чувствовал себя провинившимся школьником, над которым злорадно посмеиваются товарищи, и опозоренный, побитый поспешил

отойти в сторону.

Но только в соседней комнате — в душевой, где хозяин ежедневно собственной персоной надзирал за омовением своих гостей, во всей полноте проявилось своеобразие его метода лечения. Немалую роль в этом методе играло необыкновенное умение Калхейна лишать своих пациентов уверенности в себе: он показывал, что рядом с ним, сильным и энергичным, все они — молокососы, замухрышки, неудачники и олухи, какую бы роль они ни играли в обществе. Ибо они совершенно не умели распоряжаться самым ценным своим достоянием — телом. Здесь, в душевой, еще больше, чем за игрой в мяч, гости чувствовали себя выставленными на посмешище, потому что здесь они были голые. Какими бы представительными ни казались высокие костлявые адвокаты или судьи, врачи, политические деятели, светские щеголи, когда они, облаченные в безукоризненные костюмы, выступали перед присяжными, обращались с речью к избирателям, входили в модный ресторан, здесь — усатые, с тощими ногами, руками и шеей, с залысинами, лишенные всяких прикрас и всякого одеяния... судите сами, как они выглядели! После ряда новых упражнений — сто раз подняться на носки, сто раз (если сможете) присесть, сто раз выбросить руки вперед, вверх или в стороны, каждый раз ставя их обратно на бедра, пока не взмокнешь от пота, наступала очередь прослушать лекцию о том, как быстро мыться.

— Эй, вы, готовы? — это относилось к видному адвокату, который, помнится, как и я, прибыл только накануне. — Подойдите сюда. Вам дается десять секунд, чтобы встать под душ, двадцать секунд, чтобы выйти и намылиться с ног до головы, еще десять секунд — снова встать под душ и смыть мыло, и еще двадцать секунд, чтобы вытереться насухо. Приготовились? Начинайте!

Известный юрист встал под душ, но вместо того чтобы последовать данным ему указаниям, стоял неподвижно, дрожал от холода и ежился, позабыв все наставления хозяина, который предупреждал, что единственный способ избежать расслабляющего воздействия холодной воды — быстро и энергично двигаться.

Юрист был представительный худощавый мужчина, но здесь ему пришлось обходиться без очков в золотой оправе, без костюма из тонкой шерсти и накрахмаленного белья. Когда он, наконец, робко и неуверенно вышел из-под душа, грубо понукаемый Калхейном, я с надеждой подумал, что этот зверь, которому, видимо, доставляло бесконечное наслаждение пренебрегать нашим положением в обществе и нашим умственным превосходством, и дальше будет мучить юриста, а не возьмется за меня.

— Намыльтесь! — грубо крикнул хозяин, как только юрист выбрался из-под душа. — Намыльте грудь! Живот! Руки! Руки намыльте, черт побери! Да не трите их по часу! А теперь намыльте ноги! Ноги, черт побери! Что? Не умеете? Не стойте, как тумба! Намыльте ноги! Теперь спину! Спину, говорят вам! Спину, черт побери! Быстрее, быстрее трите! Теперь идите под душ и смойте мыло. Да не копайтесь, размазня вы этакая! Быстрее! Господи, вы что — весь день будете здесь торчать? Как будто вы никогда не принимали душ! В жизни такой размазни не видел! Явились сюда и хотите, чтобы я вылечил вас, а сами стоите, как чурбан! Ну, живей, живей!

Известный юрист делал все, что ему приказывали, со всей доступной ему быстротой, но мучительнее и обиднее всего было для него, конечно, то, как выставлялись напоказ его умственные и физические недостатки. И очень часто, когда почтенного и серьезного человека обзывали размазней, а известному врачу или преуспевающему коммерсанту заявляли, что он чурбан, это больнее било по чувству собственного достоинства, чем все остальное. Встав под душ, злополучный юрист начал судорожно тереть лицо и руки, чтобы сполоснуть мыло, и, когда его выругали и отчитали за это, усердно занялся своим левым локтем.

Тут уже хозяин окончательно вышел из себя.

— Так, так, — гневно приговаривал он, следя за несчастным, словно ястреб за своей добычей. — Вы так и будете весь день тереть одно место? Вы что ж, черт возьми, не можете сообразить, как вымыть все тело и выйти из-под душа? Живей, живей! Трите грудь! Трите живот! Трите спину! Трите ноги и выходите!

Юрист, с уморительным усердием растиравший все одно и то же место, тут же стал тереть другое, как будто его тело было огромным и сложным механизмом, устройство которого до сих пор оставалось для него загадкой. Он совсем растерялся и просто не знал, что ему делать и как угодить суровому хозяину.

— Выходите! — сказал, наконец, Калхейн устало. — Выходите! Мыться вы не умеете. Для человека, который пятнадцать лет занимается юриспруденцией, вы поразительно тупы. Я еще не встречал таких. Дома вы, наверное, так и ходите немый! Вытирайтесь!

Почтенный юрист стал мрачно вытираться очень грубым полотенцем. Вид у него был обиженный и оскорбленный.

— Что за язык! — обратился он к своему соседу, как мне рассказывали потом. — Он не привык иметь дело с порядочными людьми, это совершенно ясно. Разговаривает, как бандит. Подумать только — и за это

мы платим деньги! Я, кажется, не останусь здесь ни одного дня. С меня довольно. Это прямо возмутительно! Возмутительно!

Но тем не менее он остался — передумал ли, вспомнил ли о своих болезнях, а может быть, обильный завтрак успокоил его. Он пробыл здесь несколько недель, и за это время его здоровье — если не настроение — заметно улучшилось.

На второй или третий день я был свидетелем другой сцены, над которой очень потешался, хотя, конечно, не в присутствии хозяина — еще бы! На этот раз в той же кабинке оказалось другое значительное лицо — не то судья, не то светский щеголь, точно не знаю, который мылся небрежно и вяло, то есть совсем не так, как было предписано; вдруг наш хозяин, посвящавший очередного гостя в искусство одноминутного купания, заметил это. Несколько секунд он внимательно наблюдал, как тот моется, потом подошел к нему и крикнул:

— Пальцы на ногах вымойте! Пальцы, пальцы вы можете помыть?

Упомянутый джентльмен, зная, что теперь он живет в условиях, весьма отличных от тех, к которым привык, нагнулся и начал тереть кончики пальцев, одни лишь кончики.

— Эй! — крикнул хозяин на этот раз куда более резко. — Я же велел вам мыть пальцы, а не тереть их снаружи. Намыльте их! Вы что же, не знаете, как надо мыть пальцы? Пора бы знать в вашем возрасте! Мойте между пальцами! Мойте под ними!

— Я, разумеется, знаю, как надо мыть пальцы, — сердито ответил гость и выпрямился, — но прошу не забывать, что я джентльмен.

— А раз вы джентльмен, — отрезал хозяин, — вы обязаны знать, как моют пальцы. Так вот, мойте их и молчите!

— Я бы попросил! — ответил купальщик с достоинством, что выглядело совсем уж нелепо. — Я не привык, чтобы со мной разговаривали таким тоном.

— Ничего не поделаешь, — отозвался Калхейн, — если бы вы знали, как надо мыть пальцы, мне, может, и не пришлось бы говорить с вами таким тоном.

— О черт! — вскипел гость. — Это просто ни на что не похоже! Тут же уеду отсюда, ей-богу.

— Пожалуйста, — был ответ, — но все же перед отъездом вам придется вымыть пальцы!

И он действительно вымыл их под наблюдением хозяина, который стоял рядом и не спускал с него глаз до самого конца процедуры.

Именно такое обращение с гостями и делало санаторий Калхейна

самым удивительным из всех, какие я видывал. Как магнит он притягивал к себе всех прославленных и преуспевающих, несмотря на то, что здешние условия, казалось бы, должны были отталкивать их. Какую бы роль каждый из них ни играл во внешнем мире, здесь он не значил ровно ничего. Зато хозяин был всем. Его яркая индивидуальность всех подавляла, и он не упускал случая лишней раз продемонстрировать свое превосходство.

На завтрак подавали какую-нибудь кашу, отбивные котлеты и кофе — всего в изобилии, но, на мой вкус, пресновато. После завтрака, с половины девятого до одиннадцати, мы могли заниматься чем угодно: писать письма, укладывать вещи, если думали уезжать, собирать белье в стирку, читать или просто сидеть без всякого дела. В одиннадцать, а иногда в половине одиннадцатого, в зависимости от предписанного вида спорта, мы собирались группами и совершали прогулку на длинную или короткую дистанцию либо ездили верхом; все было рассчитано так, что, если не терять времени, можно было перед вторым завтраком успеть принять душ, одеться и минут десять отдохнуть. Эти упражнения были сами по себе очень несложны: мы проходили длинную или короткую дистанцию (длинная — семь, короткая — четыре мили) то шагом, то бегом, согласно установленному маршруту, поднимались в гору, спускались под гору, месили грязь на немощенных дорогах, пробирались по пересохшим или заболоченным руслам ручьев и рек, по каменистым или заросшим травой полям, еще мокрым от росы или весенних дождей. Однако для нетренированных людей такая прогулка зачастую оказывалась далеко не легкой. В первый день я думал, что мне ни за что не пройти всю дистанцию, а я совсем не плохой ходок. Другие, главным образом новички, и вовсе частенько выдыхались на полдороге, и за ними приходилось посылать, или они являлись на целый час позже, и сердитый хозяин встречал их насмешками. Он явно презирал всякие проявления слабости и располагал тысячью способов, один другого неприятнее, чтобы показать свое презрение.

— Если вы хотите видеть, какой размазней может стать человек, — заявил он однажды по адресу злополучного гостя, который никак не мог одолеть короткую дистанцию, — вот полюбуйтесь! Этот господин должен был за пятьдесят минут пройти каких-нибудь четыре мили — и что же? Взгляните на него. Можно подумать, что он при последнем издыхании. Он, наверно, и сам думает, что вот-вот умрет. В Нью-Йорке он проделывал по семнадцать миль за ночь, бегая из одного бара в другой или из одной устричной обжорки — это, кстати сказать, подходящее название для них — в другую, и ничего. А здесь, в деревне, на свежем воздухе, хорошо

отдохнув за ночь, а утром плотно позавтракав, он не может пройти четыре мили за пятьдесят минут. Подумать только! А еще, наверно, воображает, что он настоящий мужчина, хвастает перед приятелями, перед женой. Боже, боже!

Через день или два в санаторий приехал какой-то напыщенный майор американской армии, человек лет сорока восьми — сорока девяти, рослый и плечистый. Майор этот, с легкостью поднимаясь по служебной лестнице от одной синекуры к другой, наконец достиг высокой должности; но ему предстоял ряд испытаний, которые проводились с целью увольнения офицеров, чрезмерно разжиревших на службе. Майор не мог (или думал, что не сможет) выдержать эти испытания. Как он объяснил Калхейну — а Калхейн всегда весьма резко и непочтительно высказывался о тех, кто любил вдаваться в объяснения, — план его состоял в том, чтобы, пройдя здесь курс лечения, подготовиться к сдаче трудного испытания.

Калхейну это, очевидно, не понравилось. Он терпеть не мог людей, пользовавшихся им и его методом лечения ради своей корысти, людей, желавших добиться в жизни большего, чем достиг он, и все же он никому из них не отказывал. Он полагал, и, на мой взгляд, не без оснований, что они смотрят на него сверху вниз из-за его низкого происхождения, из-за чисто материального успеха, которым он был обязан только грубой физической силе; поэтому, завоевав определенное положение в обществе, Калхейн уже не мог отказаться от своего дела, ибо оно давало ему известную власть над этими людьми.

Одного вида этого майора, человека, обязанного уже по роду своей службы являть пример военной выправки и тем не менее приехавшего сюда поднабраться сил, было достаточно, чтобы Калхейн так и впился в него с въедливостью осы и кровожадностью волка. Не думаю, чтобы он делал это нарочно, ибо в конечном счете он был слишком умен и слишком хорошо знал жизнь, чтобы поддаваться таким мелочным побуждениям (хотя прошлое независимо от нашей воли сказывается на всех наших поступках); но судите сами: с одной стороны, бывший полисмен, бывший официант, бывший борец, бывший боксер, бывший рядовой, развозчик мяса, вышибала, тренер, с другой — этот окончивший военное училище майор, который совсем не знает жизни, не умеет заботиться о своем теле, приехал сюда с подорванным здоровьем в сорок восемь лет, тогда как он, Калхейн, благодаря спартанской выносливости и энергии в свои шестьдесят лет сохраняет железное здоровье, может помочь всем этим жалким людишкам и управляет великолепным лечебным заведением. В известной степени он был прав, хотя, по-видимому, забывал или просто не отдавал себе отчета в

том, что не он творец своей неисчерпаемой мощи, — она была создана обстоятельствами и силами, ему неподвластными.

Как бы то ни было, майор нуждался в его, Калхейна, помощи, и хотя он хорошо заплатил за предоставленную ему комнатку и еду, вероятно, куда более скудную, чем раньше, все же хозяин не мог удержаться от соблазна поиздеваться над новым гостем, выставить его на посмешище перед всеми, может быть, не без тайной мысли еще больше оттенить свои собственные достоинства. В первый же день он послал майора вместе с другими на короткую дистанцию, но ни в двенадцать часов, когда «гуляющим» полагалось вернуться, ни в половине первого, когда им полагалось занять места за обеденным столом, толстый майор еще не появлялся. Многие его видели в начале прогулки, потом обогнали. Он, вероятно, после первой же мили выдохся и теперь тащился из последних сил в гору и под гору к санаторию, а может быть, просто сбежал, как это уже случалось, и на попутном грузовике, а то и на телеге какого-нибудь фермера направлялся к ближайшей железнодорожной станции.

И вот когда Калхейн уселся за свой маленький отдельный столик, стоявший посредине столовой, далеко в стороне от всех остальных (кстати, отличный наблюдательный пункт), и, поглядев вокруг, не нашел нового пациента, он осведомился:

— Никто не видел этого, с позволения сказать, офицера, который приехал утром?

Все подтвердили, что видели его на дистанции и обогнали мили на две, на три (больше никто ничего не мог сказать).

— Я так и знал, — буркнул Калхейн. — Вот вам превосходный образчик этих кабинетных вояк; у нас в армии такие тоже были, сидят себе целыми днями в креслах, носят мундиры с шитьем и командуют другими людьми. Кажется, у человека, который окончил Вэст-Пойнт и воевал на Филиппинах, должно бы хватить ума не распускаться. Ничуть не бывало. Стоит им только выслужиться, как они тут же начинают шляться по ресторанам и приемам, хвастать своими подвигами. Вот вам офицер, майор, а он так раскис, что, пошли я сейчас за ним лошадь, ему даже не сесть на нее. Придется посылать грузовик.

Он умолк. Майор явился час спустя в крайне плачевном состоянии. За ним ездил конюх с лошастью и рассказал, что майор не мог без посторонней помощи влезть в седло. С этого дня Калхейн избрал его мишенью для своих насмешек, и во время пеших и верховых прогулок — последние бывали у нас каждый второй или третий день — он постоянно придирался к нему, говорил, что майор «состоит из одних кишок» (меня при этом

буквально передергивало); спрашивал, какой из него прок для армии и кто станет держать его там, если он не умеет того-то и того-то, как могут солдаты уважать такого субъекта, и так до бесконечности; сперва я жалел майора, потом начал восхищаться его долготерпением. Калхейн подсовывал ему самых костлявых и ободранных кляч из всей конюшни, но майор никогда не жаловался; нарочно выбирал для него те блюда, которые майор заведомо не любил, но тот все равно не жаловался; Калхейн посылал его гулять в то время, когда все отдыхали, не разрешал ему ни капли спиртного, хотя майор привык к нему. Как я узнал потом, майор прожил в санатории целых двенадцать недель вместо шести и выдержал испытания, что позволило ему остаться в армии.

Но вернемся к Калхейну. Эти постоянные издевательства и придирки еще больше усиливали в нас чувство неполноценности, которое мы и без того испытывали из-за разительного контраста между ним — уверенным и сильным, несмотря на возраст, — и нами, казавшимися рядом с ним просто тщедушными заморышами. Пусть его гости были люди умные и способные, но они приехали с больными нервами и расстроенным здоровьем в санаторий, где властвовал он, холодный, надменный, глубоко равнодушный к тому, приехали они или нет, останутся у него или уедут, и всегда насмешливый, даже когда они выходили из себя от злости. Я слышал, что иногда он выказывал расположение к кому-нибудь из гостей, но это случалось очень редко. Вообще Калхейн, на мой взгляд, презирал всех своих пациентов, считая их жалкими и слабыми существами; презирал их образ жизни, развлечения, распущенность и лень, свойственную, по его мнению, большинству людей. Помню, как однажды он рассказывал нам про свою службу в армии. Его часть стояла на зимних квартирах, и солдаты целыми днями жались к печкам, курили «вонючие» (как он выразился) трубки, жевали табак, плевались, вшивели, неделями не меняли белье, тогда как он старался почаще бывать на воздухе даже в самую холодную погоду, и, имея одну-единственную смену белья и единственный мундир, через день стирал их с мылом или без мыла в ближнем ручье, частенько разбивая лед, чтобы добраться до воды, а потом, голый, приплясывал от холода, пока мокрая одежда сохла на кустах или деревьях.

— Эти идиоты, — добавлял он презрительно, — вечно сидели взаперти, не понимали меня, поднимали на смех, торчали у печки, зато почти все они умерли в ту же зиму, а я вот живехонек по сей день.

Этого он мог бы и не прибавлять. Мы и сами это отлично видели. Я разглядывал одутловатые, дряблые лица людей, которые чуть ли не всю жизнь просидели в своих уютных кабинетах, в ресторанах или просто у

себя дома, а теперь, проездив верхом час или два, совершенно выбивались из сил, и невольно задавал себе вопрос, что они думают о Калхейне. Мне кажется, они либо считали его сумасшедшим, либо видели в нем исполинскую, а посему недоступную для подражания силу.

Но Калхейн по отношению к ним отнюдь не проявлял такой терпимости. Однажды в санаторий приехал толстый и рыхлый еврей, плешивый, с брюшком, и попросил принять его. Калхейн согласился, радуясь, должно быть, случаю досадить всем остальным и одновременно приобрести такую удобную мишень для насмешек и исцеления. И с первой же минуты его пребывания здесь до самого конца (а уехали мы с ним почти одновременно) Калхейн преследовал свою новую жертву со злобной, поистине дьявольской изобретательностью. Он выделил ему самую мерзкую и строптивую лошадь, которая отчаянно кусалась и лягалась, а во время прогулки помещал мистера Ицки (если я верно запомнил имя) во главе кавалькады, чтобы удобнее было наблюдать за ним. Каждый раз перед прогулкой верхом в конюшне происходила проверка снаряжения, так как нам полагалось собственноручно оседлать лошадь, взнуздать ее и вывести из конюшни. Мистер Ицки не умел ни седлать, ни взнуздывать. Лошадь Ицки при его приближении шарахалась в сторону и становилась на дыбы, потом косилась на него злым глазом и норовила укусить.

Такие испытания Калхейн ценил превыше всего. Он был просто счастлив, когда ему удавалось выдумать какую-нибудь новую трудность для своих гостей. При этом он не скупился на самые язвительные и обидные замечания; с мистером Ицки Калхейн был особенно груб. Скептически оглядев нас и проверив, как пригнаны седла, он неизменно обращался к мистеру Ицки:

— Я вижу, вы все еще не научились затягивать подпругу? — Или же: — Вы зачем ей зад оседлали? Вы что, совсем ничего не умеете? Конечно, лошадь беспокоится, раз ее неверно оседлали. Лошадь все отлично понимает и знает, когда на ней сидит осел. Я бы тоже лягался и кусался, будь я на ее месте. Несчастливые лошади — изволь таскать на своей спине таких дураков и лентяев. Отпустите-ка подпругу и затяните ее правильно и подвиньте седло (иногда в этом не было ни малейшей надобности). Не собираетесь же вы сидеть на хвосте у лошади?

Потом наступал роковой момент посадки. Существовал, конечно, установленный и наилучший способ посадки — калхейновский способ: левую ногу в стремя, быстрое, упругое движение, и вы легко опускаетесь в седло. Полагалось при этом сразу же попасть в стремя правой ногой. И вот представьте себе в момент посадки пятьдесят, шестьдесят, а то и семьдесят

мужчин разного роста, разного веса, с разным здоровьем и разным настроением. Некоторые из них до этого времени никогда не ездили верхом и теперь волновались и дрожали, словно маленькие дети. Как они садились на лошадь! Как они дрыгали правой ногой в поисках стремени! А Калхейн в это время, точно командир перед войском, восседал на единственной хорошей лошади и смотрел на нас с безграничным брезгливым презрением; этот взгляд в тысячу раз усугублял наши муки.

— Ну, все сели? Вы с таким изяществом проделали это, что на вас просто приятно смотреть. Халберт так артистически перебриснул ногу через седло, что чуть не выбил себе зубы. А Эффингэм хотел перепрыгнуть через лошадь. А где же Ицки? Я его даже и не вижу. А, вот он где. — И уже к Ицки, судорожно пытавшемуся засунуть ногу в стремя и вскарабкаться на лошадь: — Что с вами? Вы не можете так высоко поднять ногу? Вот вам человек, который уже двадцать пять лет управляет фабрикой готового платья, держит пятьсот рабочих, а сам не умеет даже сесть в седло. Полюбуйтесь! И от него зависит существование пятисот человек. (В этот момент Ицки удалось вскарабкаться на лошадь.) Подумайте-ка, сел! Теперь посмотрим, долго ли вы удержитесь в седле. А правое стремя, Ицки, вы обнаружите с правой стороны, неподалеку от брюха вашей лошади. Нечего сказать, приятно прокатиться в такой компании. Не диво, если обо мне здесь ходит дурная слава. Ну, вперед, да смотрите не падайте.

Мы выезжали из конюшни, миновали двор и пускались крупной рысью по дороге, но очень скоро переходили на галоп. Для опытных наездников все это было не так уж сложно, но что сказать про новичков, которые не надеялись ни на себя, ни на своих лошадей. Я не ездил верхом уже много лет и в первый день был далеко не уверен в себе и не знал, смогу ли удержаться в седле. Но спустя несколько дней я стал ездить довольно сносно, и тогда объектом для насмешек стал мистер Ицки, а потом и другие. Как-то раз мистер Ицки упал или просто сполз с лошади и не мог влезть обратно. Мы уже были очень далеко от санатория. Калхейн заметил, что Ицки отстал, мы повернули обратно и подъехали к тому месту, где он сидел на обочине дороги, переводя печальный взор с кавалькады на окрестность. Но вид его ничуть не тронул Калхейна.

— Ну, что с вами опять приключилось? — спросил он, сурово глядя на Ицки.

— Я повредил ногу. Не могу ехать дальше.

— Вы предпочитаете идти пешком и вести лошадь на поводу?

— Да, верхом я не могу.

— Превосходно, тогда отведите лошадь в конюшню, да не опоздайте к

завтраку, а потом будете ходить с новичками на короткую дистанцию, раз уж вы не можете усидеть в седле. Чего ради, спрашивается, я держу конюшню первоклассных лошадей для таких идиотов, которые даже пользоваться ими как следует не умеют? Да они только портят лошадей. Не успеет лошадь попасть ко мне в конюшню, как порядочному человеку на нее и сесть не захочется. Они дергают ее, толкают, бьют, а ведь лошадь во сто раз разумнее их.

Мы поскакали вперед, оставив Ицки в одиночестве. Мои соседи — мы ехали по трое в ряд — вполголоса возмущались заявлением Калхейна, будто у него хорошие лошади.

— Какая наглость! Такие клячи! Мешок с костями! Подумать только, и это он называет хорошими лошадьми!

Но ни громкого ропота, ни сочувствия мистеру Ицки я не услышал. Пусть этот жирный фабрикант пройдет пешком и попотеет, — можно себе представить, как он заставляет потеть своих рабочих.

В этом странном заведении люди не очень-то сострадали друг другу, и каждый думал только о том, чтобы самому поправить свое драгоценное здоровье, а остальное неважно. И все такие несхожие по внешности, занятиям и немощам, что наблюдать их было одно удовольствие. Помню, например, тощего владельца сталелитейного завода, миллионера, президента могущественной компании, прибывшего из Канзас-Сити и страдавшего анемией, неврастенией, неврозом сердца и еще бесчисленным множеством недугов. Ему было уже за пятьдесят, и больше всего на свете он интересовался своей особой, своей семьей, своим делом, своими друзьями и старался извлечь как можно больше пользы из прославленного калхейновского курса лечения, о котором столько слышал. В первый день он оказался на прогулке рядом со мной и начал расспрашивать меня о Калхейне, о жизни в санатории, а потом пожаловался на свое здоровье. Особенно беспокоило его сердце; у него бывали какие-то странные приступы, он жил в вечном страхе, что вот-вот упадет мертвым; но когда приступ проходил, он не знал толком — действительно он болен или нет. Сразу же по приезде миллионер поделился с Калхейном своими спасениями, но тот осмотрел его и заявил (в чрезвычайно грубых выражениях), что он отлично может проделывать все глупости, которыми положено заниматься в санатории.

Несмотря на это, как только мы отправились на короткую дистанцию, у фабриканта заболело сердце. Однако ему ясно дано было понять, что если он хочет остаться здесь, то должен выполнять все предписания. Через две-три мили быстрой ходьбы он сказал мне:

— Боюсь, что не выдержу. Это много труднее, чем я ожидал. Мне очень нехорошо. Сердце колотится.

— Раз он сказал, что это вам не вредно, значит, не вредно, — ответил ему я. — Не похоже, чтобы он заставил вас ходить, если это было бы слишком трудно. Он ведь осматривал вас, верно? Значит, вам это под силу. Он не стал бы никого нарочно утомлять.

— Возможно, возможно, — неуверенно отозвался мой собеседник.

Но тем не менее он всю дорогу не переставал жаловаться, ныл, все больше мрачнел и наконец замедлил шаг и совсем отстал от нас.

В положенное время я добрался до гимнастического зала, быстро вымылся, оделся и вышел на балкон, находившийся над душевой, чтобы посмотреть, что будет дальше. Калхейн обычно к этому времени успевал вернуться с поездки верхом или пешей прогулки и стоял где-нибудь возле дверей, наблюдая, как идут дела у остальных. И сейчас он, по обыкновению, стоял в дверях, поджидая своих гостей; на дороге показался тощий фабрикант, он уже опаздывал на пятнадцать минут и еле плелся, прихрамывая и прижимая одну руку к сердцу, а другую к губам. Подойдя поближе, он сказал:

— Боюсь, мистер Калхейн, что мне это не под силу. Мне очень скверно — сильное сердцебиение.

— Да идите вы с вашим сердцем! Я же сказал вам, что ничего у вас нет! Ступайте мыться!

Бедный фабрикант, то ли еще больше напуганный, то ли, наоборот, успокоившись, побрел в душевую, десять минут спустя он появился в столовой, причем выглядел ничуть не хуже других. После этого на очередной прогулке он признался мне, что в личности Калхейна есть что-то внушающее доверие, и с сердцем у него, надо полагать, совсем не так уж плохо; в последнем я, кстати, никогда и не сомневался.

Но интереснее всего в Калхейне были его очень оригинальные, своеобразные, прямолинейные, хотя, быть может, и несколько грубоватые взгляды на жизнь. Он был центром узкого, насквозь материального мира, и тем не менее я всегда ощущал подле него биение большой жизни. У него, казалось, не было ни знаний, ни интереса к наукам, к искусству, к философии, но все же он производил впечатление человека, не чуждого духовным запросам. В своем роде Калхейн являл собою пример древнегреческого восприятия жизни и древнегреческой мудрости, которая спасла десять тысяч греков под Кунаксой. При всей его примитивности в нем словно жило ощущение исторической перспективы и гармонической личности. Он знал людей и понимал, как надо жить на вершине жизни или

на ее дне, не впадая в крайности, не бросаясь из стороны в сторону.

И все же, ежедневно и постоянно общаясь в этом маленьком, обособленном мирке со священниками, адвокатами, врачами, актерами, фабрикантами, «многообещающими» маменькиными сынками и избалованными наследниками, молодыми повесами и так называемыми светскими людьми, «сливками общества», у которых очень много денег, но зато очень мало знаний и энергии, необходимой в жизни, я недоумевал, чем Калхейн, грубо и пренебрежительно относившийся к ним, мог привлекать их к себе. Они съезжались к нему со всех концов Америки: с берегов Тихого и Атлантического океанов, из Мексики и Канады, и хотя ни сам он, ни его обращение с ними никак не могло им нравиться, они все же оставались здесь весь срок. Гуляя, катаясь верхом или отдыхая вместе с ними, я не раз слышал то от одного, то от другого, что Калхейн слишком резок, что он «грубиян», «выскочка» или в лучшем случае «боксериска» (я и сам по временам, когда злился, мысленно называл его так), но никто, в том числе и я, не думал уезжать раньше срока. И невоспитанный он был, и вульгарный, а мы все равно не уезжали. И чем больше я думал о нем, тем больше убеждался, что Калхейн — человек в своем роде замечательный, хотя бы потому, что он умел справляться со своими клиентами, а это было очень и очень не просто. В большинстве это были либо те, кому слишком легко досталось богатство, либо те, кто добился успехов в жизни благодаря безграничному эгоизму. Трудно было найти людей более черствых, придирчивых. Они были пресыщены удовольствиями жизни, и мало что могло развлечь их. Они смотрели сверху вниз на все и на вся, не исключая и Калхейна, и однако их явно тянуло к нему. Я пытался объяснить это тем, что в людях, подобных Калхейну, есть какая-то железная сила, которая подавляет и подчиняет всех окружающих, хотя бы они того или нет; а может быть, их влекло к нему потому, что они в большинстве своем были так пресыщены и так беспредельно эгоистичны, что только сильно действующие средства и зверский режим, то есть нечто совершенно необычное могло вывести их из состояния равнодушия. Надо думать, Калхейн был единственным существом, с которым им стоило потягаться.

Как я уже говорил, один из пунктов калхейновской системы заключался в следующем: он распределял время для прогулок на большую и малую дистанции так, что если пациент шел достаточно быстро, он успевал вернуться назад в двенадцать тридцать и у него оставалось еще немного времени для того, чтобы вымыться, переодеться и отдохнуть перед обедом. Калхейн же стоял у дверей душевой или сидел в столовой за своим маленьким столиком и следил за тем, чтобы все явились в срок и в

надлежащем виде. Однажды наша группа прошла длинную дистанцию быстрее, чем полагалось; мы вернулись запыхавшиеся, но довольные, так как улучшили рекорд на целых семь минут. Хозяин нас видел, но мы этого не знали, и, как только вошли в столовую, он начал издеваться над нашим подвигом.

— Вы очень довольны собой, да? — сердито спросил Калхейн без всяких предисловий, не объясняя, откуда ему известно о нашем рекорде. — Вы являетесь ко мне и платите мне по сто долларов в неделю, а потом начинаете мудрить и за свои же деньги вредите своему здоровью. Прошу вас не забывать, что моя репутация мне дороже ваших денег. Мне не деньги ваши нужны, мне нужно только, чтобы мои приказы выполнялись. У всех имеются часы. Вы должны рассчитывать время и проходить эту дистанцию в указанный срок. Другое дело, если вы не в силах это сделать; я могу простить человеку, который слишком слаб или болен. Но такие ловкачи мне не нужны, и чтоб этого у меня больше не было.

Завтрак прошел весьма уныло.

Вспоминая об этих завтраках и обедах, которые подавались минута в минуту, хочу еще добавить, что обличительные речи Калхейна по адресу тех или иных нарушителей распорядка и их проступков или просто его саркастические замечания о жизни вообще и о врожденной человеческой испорченности одних раздражали, а других забавляли. Кому не приятно слушать, как перемывают косточки его ближнего?

Вместе со мной проходил курс лечения светский молодой человек, житель Нью-Йорка, по имени Блейк, который страдал жестокими запоями, что в конце концов вызвало у него нервное расстройство. Это и привело его сюда. При всем том это был милейший человек — обходительный, вежливый и деликатный. В нем была какая-то чуткость, сердечная доброта, широта взглядов, благодаря чему он снисходительно, с мягкой усмешкой относился к жизни и к людям, хотя многое подмечал. Его пристрастие к вину или, вернее, робкие попытки как-нибудь утолить свою жажду в этом безалкогольном царстве вызывали у Калхейна не столько гнев, сколько снисходительное презрение. Мне кажется, что Блейк даже полюбился нашему хозяину, — он был так пунктуален, так искренне старался соблюдать все правила и только раз в неделю просил отпустить его в Уайт-Плейнс или в Райи, а то и в Нью-Йорк по какому-нибудь делу, однако Калхейн решительно отказывал ему, да еще при всех. У Калхейна был собственный кабинет в этом же здании, и казалось, что проще зайти туда с какой-нибудь просьбой, однако его там никогда нельзя было застать. Он отказывался выслушивать там жалобы или просьбы, да и вообще

принимать нас. Поэтому тем, кто хотел говорить с ним, приходилось делать это при всех — довольно здравая политика, надо признать. Но если у кого-нибудь были разумные просьбы или жалобы — а Калхейн каким-то особым чутьем всегда мог угадать, кто из нас на что способен и чего можно от каждого ожидать, — тогда он выслушивал просителя очень терпеливо, незаметно отводя его в сторону или даже приглашая к себе в кабинет. Однако в большинстве случаев эти просьбы ничем не отличались от просьб Блейка. Пациенты, пробыв в санатории две-три недели и несколько покрепнув, начинали тосковать по радостям и развлечениям городской жизни и просили отпустить их на денек-другой.

По отношению к таким просителям Калхейн был неумолим. Всякими правдами и неправдами благодаря друзьям и доверенным в соседних городах и излюбленных значных местах Нью-Йорка он мог узнавать, где они были и чем занимались, когда покидали санаторий с его разрешения или без оногo, и в случае, если отпускники нарушали какое-либо из его правил или не выполняли условий своего договора с ним, он лишал их на будущее всяких привилегий, а то и выгонял из санатория. Вещи их выносили на дорогу перед домом и предоставляли подыскивать себе кров, где им вздумается и как им вздумается.

Все же Блейку однажды разрешили поехать в Нью-Йорк на субботу и воскресенье, чтобы уладить какие-то, по его словам, неотложные дела; при этом Блейк дал честное слово избегать огней Бродвея. Но слова своего не сдержал: его видели в одном из наиболее фешенебельных увеселительных заведений, где он напился так, чтобы хватило до другого раза, когда снова удастся вырваться в город.

В понедельник утром или, может быть, в воскресенье вечером Блейк вернулся в «ремонтную мастерскую», но Калхейн сделал вид, что до второго завтрака не заметил его присутствия; пройдя длинную дистанцию и приняв душ, Блейк щеголем явился в столовую, стараясь придать себе по возможности невинный и бравый вид. Но Калхейн уже сидел за своим маленьким столиком в середине комнаты, поглаживая собаку, лежавшую у его ног (две чистокровные овчарки повсюду сопровождали его).

— Собака, — начал он внятно, без всякого видимого повода и самым резким тоном, что всегда предвещало очередную грозу, — собака настолько лучше человека, что сравнивать их даже оскорбительно для собаки. Собака — порядочное животное. У нее нет отвратительных пороков. Если поставить миску с едой перед породистой собакой, она и не подумает обожраться до одури. Она съест ровно столько, сколько ей надо, и все. То же самое и кошка (последнее утверждение, конечно, никоим образом не

соответствовало действительности, но...). У собак не бывает красных от пьянства носов. — Тут все взоры обратились к Блейку, нос которого действительно имел красноватый оттенок. — Собаки не болеют ни гонореей, ни сифилисом. — Все посмотрели на трех-четырех богатых повес, которые, как предполагалось, страдали этими болезнями. — Они не шляются по барам, не пьют, не хвастают в пьяном виде, какие они богатые, из какой они старинной семьи. (Подразумевалось, что Блейк именно так и делает, и хотя никто в этом не был уверен, тем не менее все снова взглянули на Блейка.) Собака умеет держать слово. Она предана вам, насколько ей позволяет ее маленький убогий мозг. Она делает все то, что, по ее мнению, обязана делать...

Но возьмем человека, более того — джентльмена, одного из тех субъектов, которые не устают подчеркивать, что они джентльмены. (Чего, кстати, Блейк никогда не делал.) Оставьте ему в наследство восемь — десять миллионов, дайте университетское образование, блестящие связи в обществе — и что же он будет делать? Ни черта не будет делать, только безобразничать — бегать из ресторана в ресторан, из одного игорного дома в другой, от одной женщины к другой, от одной пирушки к другой. Ему ничего не нужно знать: он может быть паршивее самой паршивой собаки и умственно и физически, и все же он джентльмен, раз у него есть деньги и раз он носит гетры и цилиндр. Да что там, я в свое время видел немало бедных простых боксеров, которым так называемые джентльмены и в подметки не годились. Они умели держать слово. Они заботились о своем здоровье. Они старались пробиться в жизни, ни от кого не зависеть и показать, на что они способны. (Должно быть, он имел в виду самого себя.) Но так называемый джентльмен бахвалится своим прошлым и своей семьей, он будет уверять вас, что ему надо непременно съездить по делам в город, поскольку его вызывает адвокат или управляющий, а отпросившись, таскается по барам, развлекается со шлюхами, потом возвращается ко мне и просит привести его в норму, сделать нос не таким красным. Он воображает, что когда он совсем расклеится, то сможет в любое время вернуться ко мне, а я изволь ставить его на ноги, чтобы он снова мог безобразничать сколько душе угодно.

Так вот я просил бы всех так называемых джентльменов и одного джентльмена в частности (эти слова он произнес с особым сарказмом) намотать себе на ус, что они жестоко ошибаются. Здесь вам не больница при публичном доме или при кабаке. И мне не нужны ваши несчастные шестьсот долларов. Мне не раз и не два случалось выгонять людей, которые приезжали сюда только за тем, чтобы набраться сил для новых

кутежей. Благоразумные люди это знают. Они и не пытаются использовать меня. Только самые никудышные людишки да папаши с мамашами, которые в слезах привозят сюда своих сынков, — только они меня используют, и я принимаю их раз, другой, но не больше. Когда человек уходит от меня вылеченным, я знаю — он вылечился. Я вовсе не жажду снова увидеть его. Я желаю ему вернуться к нормальной жизни и встать на ноги. Я не хочу, чтобы он через полгода вернулся ко мне и слезно умолял снова привести его в норму. Это просто отвратительно. Противно. Хочется прогнать его, и я прогоняю, и дело с концом. Пусть себе идет и морочит кого-нибудь другого. Я показал ему все, что знаю сам. Чудес тут никаких нет. Побывав у меня, он может сделать для себя ровно столько, сколько делаю для него я. Не хочет — не надо. Добавлю только одно: среди вас есть человек, к которому в особенности относятся эти слова. Он здесь в последний раз. Он уже был здесь дважды. На этот раз он уедет отсюда и больше не вернется. А теперь постарайтесь запомнить, что я вам сказал.

Калхейн умолк и откупорил бутылку вина. А однажды он разразился такой речью:

— Есть в нашей стране порода людей, которым не мешало бы стать получше, — это адвокаты. Не знаю почему, но в самом их ремесле есть что-то такое, что делает их циниками и всезнайками. Большинство адвокатов ничуть не лучше тех жуликов и пройдох, которых им приходится защищать. Они охотнее всего берутся за такие дела, где нужно обойти закон, избавить кого-нибудь от заслуженного наказания, и при этом они хотят еще считаться честными и благородными людьми. Как вам это нравится! Если судить по тем типам, которые живут здесь у меня (при этих словах находящиеся в столовой адвокаты либо вопросительно взглянули на него, либо уставились в свою тарелку, либо с рассеянным видом посмотрели в окно, в то время как остальные смотрели на них), можно подумать, что они соль земли, что они избрали самую благородную профессию в мире и что они на голову выше всех остальных людей. Конечно, если покрывать жуликов и самим жульничать считается похвальным, — возможно, это и так, но я лично так не считаю. А уж физически адвокат — это самая жалкая рыбешка из всей, что когда-либо мне попадалась. Они вялые, нерешительные, какие-то малокровные, вероятно, от сидячего образа жизни. Они никогда не говорят с вами откровенно и прямо. Они всегда ищут, как бы укрыться за своими «если» и «но» и обойти вас. И никогда не ответят вам быстро и честно. Я наблюдаю за ними уже скоро пятнадцать лет, и все они похожи друг на друга. Они-то думают, что каждый из них единственный в своем роде. Ничего подобного,

и большинство из них знает о жизни меньше, чем опытный делец или даже светский бездельник. (Видимо, на этот раз Калхейну не хотелось более подробно останавливаться на двух последних разновидностях.) Хоть убей, не пойму, как может красивая женщина выйти за адвоката.

Он долго продолжал в том же духе, обличая один за другим все пороки этого племени и издеваясь над их недостатками. Если не знать, как он громит людей других профессий, можно было прийти к выводу, что Калхейн никогда не встречал людей более гадких, низких, более отсталых умственно и физически, чем адвокаты. При этом Калхейн так негодовал, у него был такой царственно-разъяренный вид, что не нашлось никого, кто дерзнул бы возразить ему; невольно думалось: вместо ответа он, как тигр, разорвет вас на мелкие части.

На другой день, а иногда через два, три или четыре дня — в зависимости от настроения Калхейна — наступала очередь врачей, коммерсантов, политических деятелей или светских щеголей — и, господи помилуй, как им доставалось! Он всегда старался (а может быть, это получалось само собой) отыскать самое уязвимое место своей жертвы и показать, какое это жалкое, бестолковое, подлое, ничтожное и нелепое создание. О коммерсантах, например, он говорил так:

— Люди, у которых есть свое маленькое дело — небольшая фабрика, оптовая торговля, маклерская контора, ресторан или гостиница, — отличаются чисто мещанским складом ума. — При этих словах все присутствующие в зале торговцы и фабриканты настораживались. — Все они знают только свое дело и больше ничего. Одному все доподлинно известно про пальто и костюмы (это был камень в огород бедного Ицки), другому о кожаных изделиях или обуви, о лампах, о мебели, — но больше он ни черта не знает. Если это американец, он корпит над своим маленьким делом, работает день и ночь до седьмого пота и заставляет всех, кто от него зависит, работать так же, он платит гроши рабочим, обманывает друзей, сам недоедает и заставляет голодать семью, лишь бы сколотить несколько тысяч долларов и не отстать от тех, у кого уже есть эти несколько тысяч. И притом он вовсе не желает выделиться чем-нибудь. Напротив, он всеми силами стремится походить на всех остальных. Если другой коммерсант в той же отрасли имеет дом на набережной Гудзона или на Риверсайд, ему тоже приспичит поселиться там, как только заведутся деньги. Если кто-нибудь из его знакомых или даже из тех, о ком он знает только понаслышке, состоит членом такого-то клуба, — ему тоже необходимо вступить в этот клуб, даже если его не хотят принимать и ему там вовсе не место. Ему хочется одеваться у того же портного, покупать провизию у того же

бакалейщика, курить те же сигары и отдыхать летом на тех же курортах, что и другие. Он даже внешне хочет походить на других! О господи! И вот когда он уподобится всем остальным, то начинает думать, что теперь он что-то собой представляет. Он ничего не понимает, кроме своей торговли, и тем не менее хочет поучать других людей, как надо жить и мыслить. И все только потому, что у него есть деньги. Вообразите себе, что какой-нибудь богатый мясник или владелец швейной мастерской вздумает учить меня, как надо жить и мыслить!

Тут он окинул нас всех таким взглядом, словно перед ним было множество живых примеров, подтверждающих эти слова. И забавно было наблюдать, что те, кто больше всего подходил под это описание, делали вид, будто все это никоим образом не относится к ним, речь вовсе и не о них.

Но из всех людей, приезжавших в санаторий, Калхейн больше всего ненавидел врачей. Объясняется это, конечно, тем, что их профессия тесно соприкасалась с его собственной, и он не без основания предполагал, что они пренебрежительно относятся к его методам лечения и придирчиво изучают их, стараясь отыскать в них слабые места. Кроме того, он, вероятно, подозревал, будто они только затем и приезжают, чтобы позаимствовать его приемы, а затем без зазрения совести выдавать их за свои. С теми из них, кто осмеливался перечить ему, расправа была коротка. При мне в санатории жил круглолицый, крепко сбитый и весьма самоуверенный врач; мы обедали за одним столиком, и он не уставал делиться со мной своими медицинскими и всякими другими познаниями. Он несколько свысока говорил, что в методе Калхейна, бесспорно, есть некоторые рациональные зерна, но уж слишком их здесь переоценивают. Что касается его, то он решил насколько возможно придерживаться золотой середины и по этой причине, помимо всего прочего, надумал приехать сюда и посмотреть, что собой представляет метод Калхейна.

Несмотря на всю снисходительность и даже благожелательность молодого врача, а может быть, именно из-за этого, Калхейн возненавидел его всей душой, едва терпел его присутствие и не уставал прохаживаться по адресу салонных докторишек с их коробочками пилюль и дешево доставшейся книжной премудростью, докторишек, хвастающих своей ученостью, «за которую заплатили другие», — так он однажды выразился, имея в виду родителей последних. А стоит им прихворнуть, как они тут же обращаются к нему за помощью или просто приезжают, чтобы изучить его методы и самим основать какой-нибудь дрянной, шарлатанский санаторий. Он-то их хорошо знает.

Однажды в полдень собрались ко второму завтраку. Перед тем, как усесться за свой маленький столик в середине зала, Калхейн прохаживался по столовой, оглядывая все вокруг зорким взглядом, чтобы выявить имеющиеся неполадки и незначительные упущения и тут же устранить их. Одно из правил «ремонтной мастерской» гласило: каждый обязан есть то, что ему подают, не обращая внимания на тарелку соседа, которому подавали что-нибудь другое. Так, например, толстяк, сидевший за одним столом с каким-нибудь заморышем, получал крохотную порцию постного мяса без картофеля, без хлеба или с маленькой булочкой, в то время как перед его тощим соседом ставили огромную порцию жирного мяса с жареным или вареным картофелем, давали вдоволь хлеба и масла, а иногда еще какое-нибудь дополнительное блюдо. Нередко случалось, что и тот и другой были недовольны и пытались обменяться своими порциями.

Но Калхейн самым решительным образом запрещал это. И вот однажды, проходя мимо стола, за которым сидел я и вышеупомянутый врач, Калхейн заметил, что врач не съел морковь. Кстати сказать, я думаю, морковь была нарочно подана ему, потому что, если кто-нибудь в первый или второй день своего пребывания здесь, ничего не подозревая, оставлял на тарелке какое-нибудь кушанье, его потом все шесть недель пичкали именно этим кушаньем. Старожилы иногда предупреждали новичков об этом обычае. Как бы там ни было, в данном случае Калхейн увидел несъеденную морковь, остановился и, помолчав, спросил:

— В чем дело? Почему вы не едите морковь? — Мы уже кончали завтракать.

— Кто, я? — ответил врач, подняв на него глаза. — Я, знаете, никогда не ем моркови. Я ее не люблю.

— Ах, не любите, — елеинным голосом повторил Калхейн. — Вы не любите морковь и не едите ее. Но здесь вы все же ее будете есть. Для разнообразия вам это не повредит.

— Нет, я не ем моркови, — сухо ответил врач несколько обиженным тоном в надежде, что ему заменят гарнир.

— У себя дома — нет, а здесь — да. Здесь вы ее будете есть, понятно?

— Почему я должен есть морковь, раз я ее не люблю? Пользы мне это никакой не принесет, она мне даже вредна. Неужели я должен есть блюдо, которое мне вредно, только из-за того, что здесь так заведено или ради вашего удовольствия?

— Ради моего удовольствия, ради самой моркови или ради всех чертей, но есть вы ее будете!

И доктор повиновался. День или два он всем твердил, как это нелепо и

как глупо заставлять человека есть то, что ему не нравится, но тем не менее во время своего пребывания в санатории он исправно ел морковь.

Что касается меня, то, будучи большим любителем крупного вареного картофеля и больших порций мяса, все равно жирного или постного, я имел глупость сказать это; поэтому мне стали давать несколько крохотных, жалких картофелин и не менее жалкие порции мяса, после чего, правда, я мог получать сколько угодно дополнительных блюд, а вот мой новый сосед по столу, светский молодой человек, нервный и издерганный, получал — вскоре я узнал, что он терпеть их не мог, — картофелины величиной с кулак.

— Вы только посмотрите! Вы только посмотрите, — то и дело брюзгливо говорил он буквально со слезами в голосе, глядя на поданную ему тарелку. — Ведь он знает, что я не люблю картофель, но полюбуйте, что мне дают. А вот вам дают его мало! Просто нахальство так издеваться над людьми, особенно в отношении еды. Не думаю, чтобы в этом был какой-нибудь смысл. Не думаю, чтобы крупный картофель принес мне какую-нибудь пользу, а вам — мелкий, и все же приходится есть всю эту гадость или убираться отсюда, а мне необходимо поправиться.

— Не унывайте, — сочувственно отозвался я, косясь на крупные картофелины в его тарелке. — Не всегда же он смотрит в нашу сторону, сейчас мы это устроим. Разомните свою картошку, положите туда масла, посолите ее, а я сделаю то же с моей порцией. Как только он отвернется, мы поменяемся.

— Вот хорошо! — обрадовался он. — Только ради бога поосторожнее. Если он увидит это, то рассвирепеет, как черт.

Наша система действовала безотказно в течение некоторого времени; я каждый день всласть наедаясь картофелем и радовался своей удачной выдумке; но в один прекрасный день, когда я осторожно переправлял растертый картофель из пододвинутой ко мне тарелки в свою, я заметил приближающегося Калхейна и понял, что наша хитрость раскрыта. Возможно, на нас донесла какая-нибудь коварная служанка, а может быть, он и сам все разглядел из-за своего столика.

— Ну, теперь я вижу, что творится за этим столом! — загремел он. — Немедленно прекратить. У этого великовозрастного дурня (он явно адресовался ко мне) не хватает силы воли и характера самому следить за своим здоровьем, и брату пришлось везти его сюда. Он не может сообразить своей дурацкой головой, что если я предписал что-то ему на пользу, то это нужно ему, а не мне. Он думает, как и другие набитые дураки, которые приезжают сюда и тратят зря свои деньги и мое время, что

я играю с ним в какую-то хитрую игру, и хочет доказать, что хитрее меня. А еще считает себя писателем и умным человеком! Его брат, во всяком случае, так думает. А вот вам второй остолоп! — Он кивнул в сторону моего соседа и повернулся лицом к обедающим. — Не прошло и трех недель с тех пор, как он слезно умолял меня чем-нибудь помочь ему. А теперь взгляните, как он очаровательно развлекается со своей картошечкой. Ей-богу, — гневно продолжал Калхейн, — просто ума не приложу, что мне делать с такими кретинами. Самое милое дело взять этих двух да еще полсотни других, выставить их на дорогу вместе с пожитками — и пусть убираются ко всем чертям. Они не заслуживают, чтобы честный человек возился с ними. Я запретил играть в карты. И что же? Кучка оболтусов, умственных недоносков, у которых больше денег, чем мозгов, в один прекрасный день под видом прогулки удирает в поле; там они усаживаются и начинают резаться в карты только для того, чтобы показать, какие они ловкачи. Я запрещаю курить. Я не думаю, конечно, будто от курения умирают, но считаю, что здесь это неуместно и служит плохим примером для приезжающих сюда молодых бездельников, которым следует отвыкнуть от этой дурной привычки, а кроме того, я не люблю, когда курят, и не позволяю этого. И что же? Шайка избалованных маменькиных сынков и изнеженных наследничков, которых безмозглые отцы не могут приохотить к работе, приезжают сюда, привозят тайком или достают через слуг папиросы, а потом прячутся за деревьями или сараями и курят тайком, как сопливые школяры. Глаза б мои не глядели! Человек положил жизнь на то, чтобы приобрести знания и приносить пользу другим людям, и не ради корысти, а потому, что люди нуждаются в его помощи, но какой от этого толк, если ему все время приходится возиться с такими баранами? Ни один из двадцати, тридцати или сорока человек, которые приезжают сюда, не хочет, чтобы я на самом деле помог ему (а еще меньше они сами хотят себе помочь). Им, видите ли, надо, чтобы кто-нибудь подтолкнул их в нужном направлении, так как сами они не в силах этого сделать. Ну, какая радость возиться с такими идиотами? Выгнать бы всю эту свору хорошей плеткой. — Он махнул рукой. — Надоело! Сил моих нет. Что же до вас обоих, — начал было он, но внезапно остановился. — А ну вас! Чего ради мне возиться с вами? Делайте, что вам угодно, болейте и подыхайте!

Он повернулся на каблуках и вышел из столовой. Я был так потрясен этой речью по поводу нашей выдумки, которая прежде казалась мне такой ловкой, что не мог произнести ни слова. Аппетит у меня сразу пропал, и я чувствовал себя отвратительно. Подумать только, из-за меня всем была задана такая взбучка! Я чувствовал, что мы — и вполне заслуженно —

стали мишенью для негодующих взглядов.

— Господи! — простонал мой сосед. — Со мной вечно так случается. За что бы я ни взялся, ничего не выходит. Мне всю жизнь не везло. Мать умерла, когда мне было семь лет, а отец не обращал на меня внимания. За пять последних лет я трижды заводил новое дело, но у меня ничего не выходило. Прошлым летом у меня сгорела яхта. Сам я уже два года страдаю неврастенией. — Он развернул передо мной такой свиток несчастий, который сделал бы честь самому Иову. А, по слухам, у него было девять миллионов!

В заключение хочется вспомнить еще два-три не менее забавных случая.

Наши прогулки верхом всегда сопровождалась замечаниями Калхейна самого экстравагантного свойства о жизни вообще, о местных жителях и случайных прохожих. Так, в один прекрасный день мы ехали по тенистой лесной дороге, над которой густо переплелись ветви деревьев. Нас было много, ехали мы по четыре в ряд. Вдруг Калхейн скомандовал:

— Сто-ой! Направо равняйся!

Повинуясь его команде, мы все выстроились в один ряд лицом к лужайке, которая неожиданно открылась слева от нас: у открытых дверей конюшни стоял маленький горн, а возле него лежал водопроводчик со своим подручным. Оба они — мужчина лет тридцати пяти и подросток лет четырнадцати-пятнадцати, — грязные, измазанные сажей, отдыхали на утреннем солнышке и, вероятно, ждали, пока расплавится свинец в маленьком котелке, стоявшем на горне.

Калхейн покинул свое место во главе колонны, выехал на середину, поближе к водопроводчику и его подручному, и, указывая на них, громко и отчетливо сказал:

— Вот полюбуйтеесь. Это труд по-американски в самом лучшем виде; полюбуйтеесь на этих изнуренных тружеников! Взгляните-ка на них.

Мы послушно взглянули.

— Перед вами бедный, изнывающий от непосильного труда водопроводчик... — При этих словах мужчина сел и с недоумением посмотрел на нас, явно удивляясь, откуда мы взялись и что тут происходит. — Этот водопроводчик получает, или, вернее, требует, шестьдесят центов в час, а обливающийся потом бедный маленький помощник получает сорок. Вот смотрите: они работают. Дожидаются, пока расплавится капля свинца, и получают за это по доллару в час. Пока свинец не расплавится, они ничего не могут сделать, а свинец, как вы сами знаете, должен хорошенько расплавиться.

— И вот эти двое, — продолжал он, неожиданно переходя от легкой иронии к злобному презрению, — воображают, будто чего-нибудь добьются, если будут валяться без дела и выманывать деньги у того, на кого работают. Сам он не умеет чинить трубы. Он не может все уметь. Если бы умел, то нашел бы повреждение и управился один в три минуты. Но пронюхай об этом профсоюз, ему объявили бы бойкот, пришли бы шантажировать его, сожгли бы его сарай или заставили бы платить за работу, которую он сам сделал. Я их знаю. Мне с ними приходится иметь дело. Они чинят мне трубы точно так же, как эти двое, — валяются на травке за доллар в час. И потом требуют уплатить им за каждую каплю свинца, которую израсходуют. Из расчета пять долларов за фунт. Если они забудут принести какие-нибудь инструменты и им приходится возвращаться в город, все равно вы платите за это доллар в час. В сельской местности они начинают работу в девять и кончают в четыре. Если вы скажете им хоть слово, они могут совсем бросить работу, — ведь они организованные рабочие. Они не допустят также, чтобы работу сделал кто-то другой. А если уж возьмутся, то будут отдыхать каждые пять минут, вроде этих двоих. Или что-то должно закипеть, или надо подождать чего-нибудь. Ну разве не прелестно! И все мы, без сомнения, сотворены равными и свободными! И эти люди ничуть не хуже нас! Если вы работаете и зарабатываете деньги и вам надо что-нибудь запаять, вы вынуждены терпеть их. По четыре в ряд! Направо! Вперед! — Мы припустили рысью, а немного дальше перешли на галоп, словно быстрая езда могла помочь Калхейну стряхнуть овладевшее им настроение.

Только тогда водопроводчик и его подручный сообразили, в чем, собственно, дело, и посмотрели нам вслед. Водопроводчик — невысокий, плотный человек — обрел наконец дар речи и крикнул:

— Пошли вы к... — Но в это время мы были уже далеко, так что Калхейн вряд ли слышал его брань.

В другой раз, когда мы ехали по дороге, ведущей в соседний городишко, навстречу нам попался большой пивной фургон; на козлах восседал немец, такой огромный, краснощекий и толстый, какого не каждый день увидишь. Было очень жарко. Немец клевал носом, лошади еле плелись. Когда мы подъехали ближе, Калхейн вдруг приказал нам остановиться, выстроил нас в обычном порядке и остановил лошадей, тащивших фургон, которые, как и мы, повиновались его громкому «тпру». Погонщик глядел на нас, сидя на своих козлах, со смешанным выражением удивления и любопытства.

— Вот вам наглядный пример, — вдруг совершенно неожиданно начал

Калхейн. — Я всегда говорю: слово «человек» надо как-то изменить или вообще заменить другим, чтобы придать ему более точный смысл. Разве можно назвать человеком вон то существо, что торчит на козлах! А потом так же называть меня или таких людей, как Чарльз Дана или генерал Грант! Вы только полюбуйтесь на него. На его рожу! На его брюхо! Вы думаете, что у этого существа — называйте его человеком, если вам нравится, — есть мозги и что он хоть чем-нибудь лучше, чем свинья в хлеву? Если лошадь предоставить самой себе, она будет есть ровно столько, сколько ей нужно, точно так же и собака, и кошка, и птица. Но дайте волю одному из тех существ, которых почему-то называют людьми, дайте ему работу и вдоволь денег или возможность жрать сколько душе угодно, и вы увидите, что из этого выйдет. Это существо подведет к себе шланг от пивной бочки и будет счастливо. Оно отрастит себе такие кишки, что хватит на целую колбасную фабрику, и в конце концов лопнет или просто сгниет заживо. Подумать только! И мы еще называем его человеком — некоторые, во всяком случае, называют.

Во время этой странной и неожиданной тирады (я никогда еще не видел, чтобы Калхейн останавливал посреди дороги незнакомых людей) толстый возница, не очень хорошо понимавший по-английски, хмурился и в полном изумлении смотрел на нас. По хихиканью одних и громкому смеху других он стал смутно догадываться, что над ним издеваются и что он служит мишенью какой-то злой шутки. Его толстое лицо побагровело, а глаза злобно засверкали.

— Доннерветтер! — заревел он по-немецки. — Свиньи собачьи! Полицию надо позвать.

Я успел предусмотрительно посторониться, когда он щелкнул огромным кнутом и в бешенстве погнал лошадей прямо на нас. Калхейн, закончив свои грозные обличения, велел нам снова построиться и преспокойно поехал впереди.

Но ничто не могло сравниться с гневом и презрением, которые вызывало в Калхейне любое проявление беспомощности и нерасторопности. Если он поручал вам что-нибудь — неважно что — и вы не бросались сломя голову выполнять поручение или просто не могли его выполнить, он не находил слов, чтобы выразить свое негодование.

Особенно запомнился мне такой случай: однажды он повез нас кататься в карете (у него их было три); карета была огромная, лакированная, с желтыми колесами, и запрягли в нее не то семь, не то восемь, не то девять лошадей, не помню уж, сколько. Эта прогулка совершалась каждое воскресенье утром или днем, если только не было

дождя. В одиннадцать или в два часа по всему санаторию раздавалось: «На прогулку в одиннадцать тридцать (или соответственно в два тридцать). Все в карету!» Калхейн восседал в таких случаях на высоком сиденье и держал в руках вожжи, рядом пристраивался один из гостей, и все остальные, хочешь не хочешь, размещались на сиденьях внутри и на крыше. Экипаж трогался, Калхейн погонял лошадей, и мы, как одержимые, носились по всей округе. Несколько конюхов выступали в роли ливрейных лакеев, другие заменяли фореиторов, а один, примостившись на запятках — уж и не помню, как он именовался, — размахивал длинным серебряным рогом и трубил в него; трубить надо было в строгом соответствии с правилами парадных выездов. Частенько, когда заблаговременно не предупреждали о часе прогулки, после команды поднималась дикая суматоха: все лихорадочно облачались в воскресные костюмы, ибо Калхейн не терпел ни малейших изъянов в нашем туалете, а если мы не успевали одеться и не дожидались у входа, когда к крыльцу подавали карету, он приходил в совершенное бешенство.

В тот раз, о котором я хочу рассказать, мы вовремя заняли свои места, все разодетые в лучшие костюмы, выбритые, напудренные, в перчатках, как подобает джентльменам, с расчесанными и подвитыми усами и бакенбардами, в начищенных до блеска башмаках и лоснящихся цилиндрах; впереди восседал Калхейн — и трудно было представить себе фигуру, более подходящую для данного случая: его длинный бич вился именно так, как полагается, готовый в любой момент опуститься на голову самой дальней лошади; а позади сидел трубач в цилиндре, в сапогах с желтыми отворотами и в ливрее какого-то умопомрачительного цвета.

И вдруг в последнюю минуту выяснилось трагическое обстоятельство: конюх, обычно выполнявший обязанности чрезвычайного и полномочного трубача, единственный человек, умевший как следует обращаться с этим волшебным рогом, не то внезапно заболел, не то у него умер кто-то из родных. Так или иначе, но он не явился. Чтобы не разгневать Калхейна, под трубача одели другого слугу, он уселся на запятки и держал в руках рог, однако трубить он не умел. Пока мы усаживались, он несколько раз спрашивал:

— Джентльмены, кто-нибудь из вас умеет трубить? Знает ли кто-нибудь положенный сигнал?

Никто не отозвался, хотя все вполголоса обсуждали создавшееся положение. Некоторые из нас умели трубить или по крайней мере думали, что умеют, но никто не хотел брать на себя такую страшную ответственность. Тем временем Калхейн, который заметил наше волнение

и, может быть, уже узнал, что подставной трубач трубить не умеет, обернулся и сердито спросил:

— Неужели среди вас не найдется никого, кто умеет дуть в трубу? Ну, Касвел? — обратился он к одному и, услышав в ответ что-то невразумительное, повернулся к другому: — А вы, Дрюберри? Вы, Крэшоу?

Все трое решительно отказались. Им и подумать об этом было страшно. Казалось, никто так и не решится взвалить на себя подобную ответственность, пока Калхейн окончательно не расвирепел и весьма красноречиво не заверил нас, что если кто-нибудь сию же секунду не возьмется трубить, он, Калхейн, никогда в жизни больше не станет тратить время на возню с такими болванами, остолопами и прочее и прочее. Наконец один молодой и неосторожный джентльмен из Рочестера сказал дрожащим голосом, что, может быть, он сумеет справиться. Доброволец занял место в ногах у разряженного трубача, и мы тронулись в путь.

— Но-о, поехали!

За ворота и дальше по дороге, вниз и вверх, вверх и вниз, все весело глядят по сторонам, все довольны, потому что местность кругом красивая и погода отличная!

И вот трубач, как и положено, подносит рог к губам и хочет протрубить торжественное «тра-та-та-та», но, к нашему великому стыду и огорчению, благополучно справившись с первыми тактами, он запнулся и «пустил петуха», как ехидно заметил кто-то. Вожжи дернулись в руках Калхейна, он резко выпрямился, но сказать ничего не сказал. В конце концов с плохим трубачом лучше, чем совсем без него. Немного спустя, так как трубач медлил начать снова, Калхейн, не оборачиваясь, крикнул:

— Ну, что там с вашим рогом? В чем дело? Не можете оправиться? Да вы что, так и будете теперь молчать?

Последовала очередная попытка, прозвучало бравурное, веселое «тра-та-та-та», но в критический момент, когда все мы дрожали от волнения и молили бога о благополучном исходе, надеясь, что на этот раз трубач минует опасное место и придет к победному концу, раздался отвратительный и жалкий писк. Это было ужасно, чудовищно. Все уныло понурились. Что-то скажет Калхейн? Ждать пришлось недолго.

— Господи Иисусе! — загрохотал он свирепо, обернувшись к нам. Лицо его буквально почернело от гнева и было ужасно. — Кто это сделал? Вышвырните его вон! Вы хотите, чтобы вся округа узнала, что я катаю стадо психопатов? Пусть кто-нибудь, кто умеет трубить, возьмет рог и трубит, черт вас подери! Без трубача я не двинусь с места.

Несколько минут слышалось смущенное бормотание, шепот, умоляющие голоса: «Попробуйте вы»; мы красноречиво уговаривали то одного, то другого принести себя в жертву; злосчастный трубач заверял, будто он отлично умел трубить в свое время, ничуть не хуже других, и сам не понимает, что с ним случилось сегодня, — должно быть, рог не такой.

— Довольно! — гаркнул Калхейн, кладя конец нашим переговорам. — Значит, никто не хочет трубить? Неужели среди всех вас ни один не в состоянии подуть в этот несчастный рожок? Чего ради я держу столько прекрасных экипажей, если у меня бывают только торгаши да разносчики! О черт! Любой ребенок сумел бы трубить в рог. Это так же легко, как играть на волынке. Если бы мне не надо было править, я бы сам трубил. Ну, живей, живей! Керриган, вы что скажете?

— По правде говоря, мистер Калхейн, — ответил мистер Керриган, щегольски одетый и чрезвычайно учтивый наследник крахмало-паточного миллионера из Филадельфии, — я не занимался этим уже несколько лет. Я могу попробовать, если вы хотите, но не ручаюсь...

— Попробуйте, — нетерпеливо перебил его Калхейн. — Хуже, чем у этого осла, у вас все равно не получится, хоть тысячу лет трубите! Давайте! Давайте!

Мистер Керриган обернулся, взял рог, который с нескрываемой радостью вручил ему его незадачливый предшественник, облизнул и выпятил губы, поднял рог, запрокинул голову и...

Это было потрясающе, неопишимо! Какие пронзительные и скрежещущие звуки!

— Боже милостивый, — взревел Калхейн, рывком осадив лошадей. — Прекратить! Тпру! Так лучше вы не умеете? Ну, вы меня доконали! Тпру! Что за стадо я вожу с собой? И главное, здесь, где все меня знают и понимают толк в приличиях! Господи! Тпру! Я ухлопал тысячи долларов на экипажи, которые настоящим джентльменам могли бы доставить удовольствие, а вместо того вожу бездарных обалдуев. Несчастные пьянчужки, не знающие, что такое воскресный выезд. Ну, с меня хватит! Я сыт по горло! Лучше пуцу эту проклятую колымагу на дрова, чем еще раз сяду в нее! Слезайте! Убирайтесь все! Обрато я вас не повезу. Идите обрато или куда вам вздумается, хоть к чертям, мне наплевать! Хватит с меня! Вылезайте! Я поворачиваю обрато! Я поеду домой какими-нибудь закоулками, если сумею. С такими ослами я больше не желаю возиться.

Мы грустно и смиренно вылезли из кареты и, пока разъяренный Калхейн отыскивал место для разворота, стояли неподвижно, а потом по двое, по трое нерешительно отправились в обратный путь по извилистой

дороге, неловко вышагивая в своих воскресных костюмах. Но как мы ругались! Как богохульствовали! Сколько раз мы желали его грубой ирландской душе провалиться в тартарары, и притом как можно глубже. Мы проклинали его со всех точек зрения, в выражениях столь изысканных, отборных и многогранных, какие на моем веку не выпадали на долю ни одного человека, от которых буквально пахло гарью — столько в них было ярости.

А вы толкуете о филигранной резьбе красноречия! О мозаике из драгоценных слов!

Вы бы только послушали, что мы говорили на обратном пути!

И все же ни один из нас не уехал!

Года два спустя мне довелось снова побывать в этих краях. Проезжая мимо санатория вместе со своими друзьями, я попросил приятеля, у которого гостил и который тоже знал Калхейна, заехать туда. В те времена, когда я там лечился, людям, хорошо знакомым с заведением Калхейна, разрешалось проезжать по его территории мимо самых дверей «ремонтной мастерской» и даже останавливаться, чтобы повидать Калхейна, поговорить с ним или на худой конец просто раскланяться. В летнее время Калхейн разбивал на лужайке перед домом большую, красивую палатку в зеленую и белую полоску, там стоял походный стол, складные стулья, на столе лежали книги и бумаги. В жаркие дни, в свободное от возни с пациентами время, он сидел в этой палатке и читал. И когда он находился здесь или где-нибудь поблизости, над палаткой поднимали флажок, который, вероятно, должен был служить сигналом для гостей и посетителей. На этот раз флажок указывал, что он здесь, и мне захотелось еще раз взглянуть на этого царственного льва. Пациентам не разрешалось подходить к палатке ближе чем на десять шагов, а уж входить туда — и подавно. Но посетителям это позволялось, и многие заезжали, чтобы вспомнить времена, когда они были его покорными рабами, и порадоваться вместе с ним его железному, несмотря на преклонный возраст, здоровью. И если посетители были люди интересные или Калхейн хорошо помнил их, он снисходил до того, что появлялся у входа в палатку и принимал их в позе Наполеона после битвы под Лоди или генерала Гранта в Уайлдернессе и впервые за все время выказывал по отношению к ним известную любезность.

Итак, побуждаемый желанием еще раз увидеть своего сюзерена, проверить, узнает ли он меня, я попросил моего приятеля подъехать к палатке, где Калхейн сидел и читал. Я понимал, что затеял весьма

рискованное предприятие. Собравшись с духом, я храбро вышел из автомобиля и, подойдя к Калхейну, назвал себя. На губах его появилась полуприветливая, полупрезрительная улыбка, и мы обменялись рукопожатием. Затем, вероятно решив, что если не сам я, то уж, во всяком случае, мои друзья — люди интересные, Калхейн поднялся и подошел к выходу. Я представил своих спутников: один был бывалый моряк, важный флотский офицер, другой — владелец большого имения за несколько миль отсюда. И тут я впервые увидел, каким величественным и обаятельным может быть Калхейн. Он встретил похвалы моих друзей по поводу окрестных красот царственным кивком и сказал, что в ясную погоду вид отсюда еще живописнее. К сожалению, он сейчас занят, а то показал бы моим друзьям свое заведение. Но если им случится как-нибудь в субботу проезжать мимо или они предупредят его по телефону заранее, он будет к их услугам.

Мне бросилось в глаза, что Калхейн за это время ничуть не постарел. Ему теперь было уже за шестьдесят, а выглядел он все таким же крепким и подтянутым. И со мной он обращался столь учтиво и церемонно, словно никогда раньше не кричал на меня.

«Боже правый! — подумал я. — Насколько лучше быть посетителем, чем пациентом».

Спустя минуту-другую, сердечно поблагодарив его, мы уехали, но я еще несколько раз оглянулся. Санаторий Калхейна просто очаровывал меня. Какая благородная простота убранства! И какой суровый режим! А сам Калхейн в своей палатке — спартанец и стоик наших дней! Но больше всего удивила меня — как мало я знал его! — та книга, которую он читал и при нашем появлении положил на столик; она лежала переплетом кверху, и я невольно прочел заглавие. Это была «История европейской морали» Лекки.

Вот!

Так-то!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Два года спустя после моего последнего посещения Калхейна, я решил разобраться в моем истинном отношении к нему и набросал нижеследующие мысли, которые я и прилагаю сейчас к рассказу, независимо от того, какова их реальная ценность: тогда они выражали мое искреннее мнение о нем.

Томас Калхейн принадлежит к той части общества, которую, как явствует из современной религиозной и философской литературы, всякого рода почтенные граждане (священники, дельцы, судьи, адвокаты и прочие) пытаются наставить на путь истинный. Именно представители этих кругов и приезжают в его санаторий, люди так называемого «хорошего общества». И тут оказывается, что физически и духовно их подчиняет своей воле человек, который, по их мнению — во всяком случае, в теории, — не более чем головешка, которую надо выкинуть из печи.

Церковь и общество смотрят на Калхейна так же, как они смотрят на всех, кто находится за пределами их мира. Среди этих «полунеприкасаемых» Калхейн, безусловно, необычная фигура. На него неоднократно указывали и указывают с ораторских трибун, с церковных кафедр, с газетных страниц как на одного из тех людей, чье влияние пагубно для общества. И вот благочестивый проповедник приезжает к нему в санаторий, здоровье его подорвано, и тот же Калхейн видит его недуги, понимает, что причина болезни в том, что проповедник ведет неправильный образ жизни, закоснел в своих догмах, и Калхейн не боится встряхнуть его с нарочитой грубостью, насильно выбить из привычной колеи. Он знает своего пациента лучше, чем тот знает самого себя, — и исцеляет его.

Над этим поразительным явлением стоит призадуматься тому, кто хочет влиять на своих сограждан. Удачливые игроки, боксеры, жулики, кабатчики, букмекеры, жокеи и им подобные добиваются успеха благодаря своему уму, сметливости и проницательности. Нет сомнения, что среди профессиональных спортсменов и вообще среди людей, не принадлежащих к хорошему обществу, можно найти мудрых и прозорливых судей человеческой природы. Знакомство с суровой, неприкрашенной действительностью многому научило их. Они видят жизнь с изнанки и не обольщаются ею: всю ее жестокость они узнали на своей шкуре. Зачастую люди, которые собираются в низкопробных кабаках и которых наши проповедники и моралисты готовы огульно предать анафеме, имеют более верное представление о самих проповедниках, о церковных организациях, о реформаторах и об их значении в многообразной жизни общества, чем проповедники, религиозные организации и реформаторы — о завсегдажных этих кабаках и о том мире, к которому они принадлежат.

Вот отчего, по моему скромному мнению, церковь и все те, кто поддерживает ее начинания, не могут добиться больших успехов. Они всячески стараются исправить мир, но сами так погружены в себя и свои догмы, так скованы своим произвольным и узким пониманием добра и зла,

что большая часть общества остается вне поля их зрения, в лучшем случае достаивается лишь беглого внимания. А влиять на людей на расстоянии нельзя. Хотел бы я знать, сумеет ли проповедник или судья, возмущенный языческим варварством мистера Калхейна, обратить этого гладиатора в свою веру так же быстро, как этот гладиатор вылечивает его.

Справедливости ради мне теперь хотелось бы добавить, что проповедники и моралисты воюют, надо думать, не с тем хорошим, что есть в таком человеке, как Калхейн, а ополчаются на пороки, присущие людям, не имеющим ничего общего ни с Калхейном, ни с его отношением к жизни. С другой стороны, спортсмены могли бы возразить, что они нападают вовсе не на истинные добродетели, имеющиеся у церковников, а на их слишком узкое толкование добра и зла, на их беспочвенные и необоснованные суждения о людях и классах.

Пусть так.

Тут еще можно спорить и спорить.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)